

**Татьяна
НИКОЛАЕВА**



**Новокузнецк
2019**

Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя



Татьяна НИКОЛАЕВА

О ПРЕХОДЯЩЕМ

Новокузнецк
2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Н 63

Николаева Татьяна Николаевна

О преходящем : [проза, стихи] / Татьяна Николаева ;
Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя. –
Новокузнецк, 2019. – 44 с. 16+

Николаева Татьяна Николаевна родилась 27 декабря 1956 года в Семипалатинске. С 1979 года – член городского литературного объединения «Гренада» (Новокузнецк), с 1980 года – активный участник областного литературного объединения «Притомье» (Кемерово), с 1984 по 1988 год – руководитель литературного объединения «Гренада».

С 2008 по 2013 год – руководитель литературной мастерской «Мастер-круг» (Новокузнецк), с 2016 года – член творческого совета журнала поэзии «После 12» (Кемерово).

Поэт, член Союза писателей России. Автор пяти книг стихов и прозы: «Живи меня, Господи» (2002), «Где ты, потомок Первого?» (2004), «Клочок обетованный» (2006), «Вместоимения» (2013), «Реминисценции» (2018).



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Если сборник стихов «Реминисценции» собирался сам, исходя из жизненной ситуации, когда во главу угла встал вопрос: «А зачем *ты* пишешь стихи?.. а зачем *они* писали?..», то книжка «О преходящем» – это осмысление самой жизни – текущей, меняющейся на глазах, озадачивающей, не дающей ответов на злободневные вопросы.

Есть круговорот воды в природе, есть круговорот «еды» в природе, о значимости которых в жизни планеты мы все знаем со школьной парты. Но есть ещё и такое явление как круговорот мыслей и чувств в природе человеческой. Поэзия к этому явлению имеет непосредственное отношение. Если хорошо вдуматься, то заметно, что самой Природе не безразлично, как мы думаем, чувствуем и живём – она отвечает на это своими непредсказуемыми средствами.

Жаль, что мы не всегда понимаем эту – прямую для нас – связь.

А ЗДЕСЬ

*«И не иссякнет бытиё
Ни для меня, ни для другого.
Я был, я есмь, я буду снова!
Предвечно странствие моё!»
(Максимилиан Волошин)*

Едем уже два дня. Люблю поезда за ритм, живые картинки за окном, возможность ничегонеделания и спокойноодуманья, хотя с Санькой спокойно не подумаешь.

– Ба! А мы уже здесь были... мы возвращаемся?

– Нет, Сашунь, мы здесь не были, мы едем на запад в Москву.

– Но я это уже видел вчера!

Всматриваюсь внимательно в пейзаж. Господи! Вторые сутки едем, а всё тот же ландшафт, те же промышленные комплексы с той же перестроечной коростой разрушения, что и в родном Кузбассе, с теми же евро-заплатами реформации... и деревья всё те же – ели, берёзы, тополя да осины... и всё так же выщерблено, пообломано, замусорено... и цветы те же по обочинам в чумазах травах...

Умом понимаю, что ничего странного в этом нет, – едем по одной широте. А в душе что-то сжимается от непонятной тоски, и – мысль: «Никто никогда не завоевал и не завоюет Сибири – вымрут или разбегутся от скуки... Это же па-ра-ной-я!» Наверное, в сознании сибиряка как-то непрявлено присутствует это параноическое начало. Оно маскируется под пьяную удаль и трезвый пофигизм, удобно соседствующие в «коммуналке» ещё не изжитого до конца социализма. Спасает только изменение масштаба взгляда на здесь и сейчас. За что и люблю карты. Географические.

* * *

Низко и быстро плывут рваные облака с северо-запада. Солнце выпаривает землю, три дня поливаемую дождями. Запахи украинские – открытые, сладковатые, тёплые. Липа напротив окна уже отцвела. Балкон – на четвёртом этаже, а ощущение, что сидишь под ней на лавочке. Липа – моя ровесница.

– Опоздали вы немного, – сетует мама сквозь радость встречи, – как пахло неделю назад! Балкон открываешь, и – будто в ней и живём, как горлицы... у нас там, смотри, парочка поселилась. Если опять захочешь на балконе спать, – не дадут, гулят с четырёх утра.

А внизу – сирень, алыча, рядом с домом – белый налив. Люблю яблони за стволы – жилистые, экспрессивно заломленные жесты ветвей, неожиданно изогнутые позы, – танец деревьев! Хочется

рисовать их. Но я пока фотографирую, запоминаю, делаю наброски в записной книжке. А вѣтлы возле реки, плакучие ивы, – о, душа, не тай, не ной, – они нависают над водой, воздевая ветви-руки в скорбных изломах, как плакальщицы, и полощут рукава и подола своих зелёных хитонов в ребристых зеркалах проток между гранитными валунами. Некоторые полегли стволами к самой воде, не выдержав постоянных захлѣстов ветров, дождей, гроз. По этим изогнутым подагрическим стволам лазят ребятишки. И мы полазили.

А «речка-Случка» обмелела и заросла. Проходим с Санькой по берегу: из травы в воду сыпятся лягушки, настороженно висают на поверхности, разлапившись, и при малейшем движении сигают в водоросли, вытянувшись капелькой... В сосняке ходят, пофыркивая и похрапывая, кони; на тенистом пологом берегу, заросшем сочной травой, пасутся коровы. У одной к рогам привязана дощечка, – бодливая. Вороны и галки обживают кроны двух берегов, пронизывая уютное ложе реки резкими прямыми линиями вскриков, как выстрелами когда-то в далёком и недалёком прошлом. Звягель стоял здесь и стоит до сих пор уже под другим именем.

Как давно я люблю эти места! Правый берег Случа, гранитно нависший над крутым поворотом реки с полуразрушенными дотами по обе стороны Житомирского шоссе – ландшафт моего отрочества. Здесь – военные городки: Зелёный, Белый, Красный. Мы живѐм в Зелѐном. Сейчас это полюбит мой внук.

Лето 2009 г.
г. Новоград-Волынский
Житомирской обл.
Украина

* * *

В.С.

Ты ничего не сказал.
Я ничего не сказала.
Стройно качнулся вокзал,
свет изливая из зала
в ночь сквозь оконные бреши,
ласково шлёпнул в лицо...
Клён, изумрудом завешан,
тенью упал на крыльцо.

Ты ничего не забыл?
Я ничего не забыла.
Из дымоходной трубы
бани видение было,
помнишь? – качнулась земля
и побежали в рассрочку
реки, туманы, поля,
не возведённые в строчку?

Дочка сказала: «Смотри!
Это ликуют маралы.
Гуща малины внутри
с тропкой к ручью... я узнала!»
Ты ничего не узнал?
Жалко. А мог бы. Ну, что же, –
вот он, бегущий вокзал,
на извиненье похожий:

пульсом – колёса о стыки,
выдохом – гулкое эхо...
Мы с тобой не из простых,
это разлуке помеха.

Возглас: «Откройся, Сезам!» –
в вечную пропасть базара...
Ты ничего не сказал.
Я ничего не сказала.

2004 г.

Новокузнецк – Новоград-Волынский

* * *

В.У.

У нас в Сибири жабы не поют,
А здесь – тепло, каштаны и уют,
Здесь даже козы мекают нежнее,
И яблоками пахнут вечера,
Гнездовьями – рассветы, а вчера
Прошла гроза с Архангелом над нею.
Здесь Гоголя – в полночной тишине –
Блуждает дух, а древний дуб во сне
Роняет рифмы, вздрагивая гулко.
Здесь Бабея наивные жида,
Убитые у южной слободы,
Цветут ромашкой в свалках переулка.
Здесь Леся и в граните не молчит,
Рифмуется с огарочком свечи
В глубокой тени от плакучей ивы...
Здесь горлицы гуляют среди нас,
Здесь не в чести банан и ананас...
Ну а в Сибири жабы молчаливы.

2013 г.

Новоград-Волынский

* * *

внуку Саньке

Ящерка бежит по полю,
шелковиста, зелена.
Эту маленькую волю
поглощает тишина,
а лучи ассистом стелют
по пути тепло Творца...
В свежескошенной постели
мне не надобно лица.

Улыбаюсь во всю душу,
под июльским солнцем сплю:
ничего-то не нарушу,
никого не погублю,
никакого чувства – кроме
бессловесной тишины:
тело – в неге, мысли – в коме,
и врачи мне не нужны!

Прямо в сердце вечность льётся,
и стрекочет, и звенит...
А когда душа проснётся, –
заглянёт в неё зенит.
... Ящерка уже сбежала,
а душа ещё бежит,
и пронзительное жало
благодарности дрожит...

2009 г.

Новоград-Волынский

* * *

памяти папы Николая

Разгульно дождь прошёлся, ветер
Вздыхнул жнивьём издалека,
И кошка дохлая в кювете –
Как неприличная строка
На свежеккрашеном заборе...
Полынь умыто поднялась...
Зачем, зачем я вижу горе
Там, где другому – только связь?
Чем связаны в душе отпетой
И дождь, и ветер, и кювет,
И жизнь несчастной кошки этой,
В которой жизни больше нет?
Чем так смущают душу эти
Растрёпанные облака
И неоплаканные дети,
Ещё счастливые пока,
И жёлтый дом пятиэтажный
С гнездом на пятом этаже?..
Не тем ли, что им всем не важно –
Живой ты, или нет уже?

2013 г.

Новоград-Волынский

* * *

маме Тамаре

Горлицы в липе – как ангелы в хате.
Ты приглядишься и увидишь:
здесь непривычно-приятен, понятен
русский, украинский, идиш.

Или закрой свои гулкие очи,
вслушайся в тени зари:
плачут – смеются – вздыхают – пророчат
все, кто гнездится внутри.

Те, кто снаружи – случаен, не нужен!
Нам благодатно и без...
если войны не случится на ужин
под мановенье небес.

Липа гулит, осыпаются звёзды
от приближенья Луны.
Нам загнездиться на липе не поздно,
если не будет войны.

2013 г.

Новоград-Волынский – Новокузнецк

* * *

сестре Оксане

И облако с раскрытой волчьей пастью,
И мёртвый ёжик в шалке на балконе –
Моей судьбы стреноженное счастье,
Уволенный в отставку старый пони.

Он слеп и безысходен, только слышит,
Как падают от ветра абрикосы,
Как барабанит дождь по ветхой нише
И страх заходит в помыслы без спроса.

Он видит только то, что сердце знало
Под солнцем дней иных, под блеск оваций...
А мёртвый ёжик в шалке полинялой
Ещё не научился улыбаться.

2013 г.

Новоград-Волынский

* * *

брату Сергею

Запах конского навоза,
взгляд замедленный коня...
Кто сказал, что это – проза?
Это ливень сквозь меня

пробежал по косогору,
поскользнулся в речку Случ
и, шальному ветру впору,
солнце выдернул из туч!

Фыркнул конь и мордой влажной
повернулся в света сноп...

То, что я – насквозь – не важно,
если – радостно, захлёб!

Конь заржал. Чабрец примятый
хлынул ароматом дня
обновлённого... А я-то
думала, что нет меня...

2009 г.

Новоград-Волынский

КОЛОКОЛ

*«Чтобы колокол был слышен далеко,
Колоколу должно быть очень больно...»*

И Мун Дзэ

В кухонном окне вижу забавную картинку возле помойных бачков: мама-ворона с двумя дитёнышами (у них «жилетки» и клювы посветлее, да и сами поизящнее, хоть уже вымахали до мамы). Подошла вразвалочку к одному, клювом снизу вверх приподнимает крыло. Обошла, и со вторым крылом та же манипуляция... Дитё «огрызается» раскрытым клювом, отскакивает, шкандыбает в траву, оглядываясь на родительницу. Она идёт ко второму, повторяет и с ним свои действия. Этот реагирует поглубе: дёрнулся, типа клюнуть её хочет (мама стойчески спокойна), зашкандыбал прочь...

Ну и ну! Впервые такое вижу. Что она от них хочет? Почему они «хамят»? Люблю ворон. Эти существа в своих манерах напоминают людей. Вполне могли бы быть цивилизацией в каком-нибудь захолустье вселенной, где не прижились приматы.

Не так давно меня перед сном занесло памятью в ту глубину детства, где родители были ещё очень молоды, я ещё не училась в школе, а сестры вообще не было. Амур. Мы на корабле: папа, мама, брат, я... тёплый, влажный, немного тяжеловатый воздух, коварное покачивание палубы под ногами, крики и мелькание чаек, знойное белёсое небо с мутными зародышами облаков.

Я вижу и чувствую папу и маму. У них есть будущее, они верят в него, они красивы от этой веры и счастливы, что соответствуют ему, – они его строители. После военного детства, пережитого мамой в Белоруссии под фашистами, а папой на Сахалине под японцами, им оставалось только строить, творить.

У нас с Серёжей тоже есть будущее: мы будем жить в этом светлом и добром мире, который создают папа и мама. Мы любим их, верим им и не сомневаемся, что человек человеку брат. У нас впереди – школа, студенчество, любовь, своё собственное благородное дело, которому будет посвящена жизнь! Мы тоже будем красивы и счастливы.

Осень 2015

В ТОСКЕ

Белым – по чёрному, чистым – по скверному
снова февраль нас стирает с лица
гордого незамутненной верою
города-черенца.

Сколько ему доставалось от племени
власть-предержаще-сменяемых каст?..
Есть епитимия места и времени –
Бог и воздаст.

Город-чернец одержим послушанием:
уголь, руда, коксохим и цветмет.
Что сокровенно в тоске разрушали мы?
Менталитет:

золото – люди, и топливо – люди же,
судьбы по вышке закалку прошли.
Господи, в этом червятнике буди же
милостив к детям земли!

Разве они не алкали, что сеяли?
Разве жалели и сил, и души
на возрожденье разумного семени?
Только судить не спеши...

Ты загляни в наши души отпетые,
и в неотпетые Ты загляни:
теплого ливня, заботы ли, света ли
разве не ждали они?..

Февраль 2014

С ВЕРОЙ В ГРУДИ

На Украине – окраине бывшей Руси –
маму мою ты помилуй, мой Бог, и спаси!
Я-то в России бытую в классическом стиле.
К пашням слетелись грачи и скворцы – это май:
с верой в груди и с лопатой в руках принимай
всех, кто тебя за твоё вольнодумство простили.

На Украине бандеровцы режут века,
перелицовывают свой зипун, а пока
ржавеет кровью асфальт пресловутых майданов.
Ну а на пашнях – страда: и грачи, и скворцы
любуют вредных личинок, не метя в отцы
братских народов. Да только до братства куда нам?

Вроде бы Новый Завет имплантирован в нас,
все – христиане... Пока же психоз не угас,
судим друг друга по имиджу и по породе.
Предок забыт. Окопались. Построен редут,
мама мне писем не пишет – они не дойдут,
папа на кладбище знает: и это проходит.

Май 2014

В ТЕРПЕНИИ

У колокола моей души
украли язык на цветмет,
и в смирительной рубашке немотства она,
открытая всем ветрам, бессловесно
погудывает на четыре стороны света,
то взмывая в высь благодарением,
то погружаясь на дно отчаянием...
роняет последние опавшие смыслы
на рельеф стареющего лица, завершённый
глубокими морщинами от перепада культур.

У колокола моей души
сдали язык в переплавку.
Привяжите обломок базальтовый
в пространство вопиющих немотств –
непроницаемый шестигранник мужества
шести взоров духа, изнемогающего от
двухмерного формата письменной речи.

У колокола моей души
от прикосновения лапок шмеля
Зазвенели любовью сплавы –
меди, золота, серебра, олова,
а от угля остался шлак...
Это прикосновение породило в душе дитя,
и оно хочет родиться словом!
Но язык украли...

У колокола моей души
память зашкаливает на будущем, она
выгорела в огне ужаса перед ненавистью
братьев друг к другу, и только
сестрические лохмотья жалостливого тепла

под толщей белого пепла ждут
подачки: бросьте хотя бы
иссохшую в терпении траву, хотя бы
свернувшуюся негодованием ветвь –
лишние презренные никчемучки,
в которых дитя хочет родиться...

У колокола моей души
много любви – её хватит на
костёр для трёх женщин вдов,
забывших, что такое нежность. Бросьте
старые газеты, обноски, пачки от сигарет
в этот самозабвенный пепел светлых дней
прошлого, и вы увидите звёзды на небе
и лица тех, кому можно сказать
о красоте ночи, в которую
дитя ждёт рождения.

Колокол моей души,
обезьязыченный, алчет ваших
косынок, рубах, простыней, пелёнок... бросьте!
Пусть возродится пламя, пусть вам,
нагим, будет тепло около него,
пусть заголосит в рождающемся
колокол моей души –
последними смыслами, с которыми
вы не могли расстаться прилюдно.
Нет никого... И больше не будет...
но дитя имеет волю быть!

У колокола моей души,
базальтово орущего в Небо,
вы совершенно святы,
потому что наги, потому что плачете,
потому что вам жалко Землю,
потому что и ваши языки
украли на цветмет.

Июль 2014

В ТЩЕТЕ

Страшные вещи бывают на белом свете,
самые страшные – это родные дети,
волком рычащие из-под твоих молитв...
Страшные миги бывают в душе: мигни-ка, –
сердце опутают плесень и повилика,
и понимаешь, что это предвестник битв.

Страх одолеем! Возьмём свои мысли в руки,
скажем: готовы на подвиги и на муки!
Волю направим отчаянно от плеча!..
Брызги рябины, кровавые, в снег ложатся...
Нам приходилось и в юности облажаться,
в старости как-то паскудно. Но горяча
кровь наших дочек, сыночков, висящих в рынке.
Я понимаю: я – лох, но гундёж сурдинки
нового времени слишком похож на ложь.
Я понимаю: на правду всегда – глушитель,
я принимаю, но вы-то, орлы, пишите,
если писатели, – правду, а не гундёж!

Правда кровава и пахнет навозом, дёгтем,
и за неё отоварят пинком и локтем.
Это нормально. От этого не уйти.
Падают в землю безногие с неба птицы...
Вам никогда этот ужас в ночи не снится?
Изнемогаю в тщете этих птиц спасти.

Август 2014

В МОЛЧАНИИ

...вот отпаиваюсь таёжным чаем –
 густым, горячим,
промываю сухие мысли
 о том, что вижу.
Мы с тобою, душа, никогда уже
 не заплачем, –
разряжённые чувства... ведь небо
 всё ближе, ниже,
звёзды – больше, я в них различать
 начинаю лица,
и орбиты планет, словно нимбы,
 вокруг роятся...
Ах, как ласково в душу ложится
 чаёк с душицей,
наполняя жаленьем её, –
 хоть живьём да в святцы...
А давно ли я водочкой потчивала
 её же –
эту душу, ещё не выкорчеванную
 из детства?
Как полынно горчит обида,
 когда не можешь
никуда от ярма, от сумы,
 от вины деться!
Вот смородины правильный привкус:
 висел листочек
над ручьём, от куста ни на шаг, –
 не ярмо ли это?
Не сума ли – сермяжные ритмы
 сушёных строчек

с золотисто-зелёным оттенком

тайги и лета?

Для кого я так нежно

в молчаньи слова смакую?

Рядом нет ни души, – закричись...

Для Тебя ли, Боже?

Как давно Ты не видел

полночно – меня – такую...

Вот и слезы пришли. Это Ты.

Пожалел, похоже.

Октябрь 2014

В МОЕЙ ДУШЕ

Как много лишнего в моём уме!
Проснёшься, а душа – «ни бе, ни ме»,
какие-то мелькают «вести, вести»...
А я-то знаю, что она в тюрьме
со мною вместе.

Как мало нужного в моей душе!
И состраданье изгнано взашей:
мол, у просящего-то башмаки ладнее,
а то, что он иззудился от вшей, –
ему виднее...

О, Господи! Да как же различать
добро и зло, смиренье и печать
бессмысленного сосуществованья?
... изяществу в слове, но «на ять»
душа порой такой исходит бранью!

Душа? О, нет! То ум скрипит, ярится.
Душа – она вселенская синица.
Корми синиц, голубушка, корми.
И чаще, глубже всматривайся в лица,
которые считаются людьми,

да и твоей ненужности сродни
на черновой замаранной странице.

Март 2018

В ТЕБЕ

Сквозь завьюженную улицу,
грохоча и дребезжа,
он подслеповато щурится
в бессловесного бомжа.

Еле теплится окошками,
а внутри толпится блажь.
Я войду в тебя, хороший мой,
если душу мне отдашь.

Отдаёшь и, взвизгнув дверцей,
замыкаешь за спиной
всё, чем так замёрзло сердце,
что так больно было мной...

Знаю я маршрут твой вечный –
по кольцу трусишь, гремя.
Я в тебе сейчас – как свечка,
как молчанье меж двумя...

... оборвётся всё с рассветом.
Только ты не забывай,
как нелепо быть поэтом –
и при этом быть трамвай...

Май 2013

О ПРЕХОДЯЩЕМ

«На 99% мы состоим из прошлого. Оно – суть нашей памяти. Память – тяжёлая штука. Лишаясь её, мы лишаемся не прошлого, а рассудка»
Шавкат Абдусаламов

Всего пару дней назад, возвращаясь из очередной деловой вылазки в город и увидев старый клён посреди моего двора, освещенный огненно-рыжим заходящим солнцем, подумала: «Какой ствол! Какие выразительные жесты! Как я тебя, старик, люблю! Роденовская пластика судьбы. Надо сфотографировать: выждать проблеск суток с выгодным освещением, пока листвы нет...»

Сколько поколений детворы на этих жилистых руках Древа устраивали «гнездовья» своих игр, качели и тарзанки, шалаши и сериалы войнушек! К нему подходит определение – долготерпелив и многомилостив. Достоин бронзовой таблички «Древо детства»!

А сегодня утром на кухне, готовя завтрак внуку, заглянула в окно на какой-то назойливый звук и увидела, как «Древо детства» обваливают. Аккуратненько так пара мужичков из соседнего дома расчлениют, валят, растаскивают «пластику судьбы» на дрова, а «жесты» – в бесформенную кучу «всесожжения». И кому он помешал в середине огромного двора-то? Он не затмил ни одного окна! О, люди-люди...

Смотри, душа, видь. Лучше ни о чём не думай. Ничего не придумаешь. Смиришься. С чем только ни пришлось тебе смириться за последние десятилетия. Водрузят металлопластиковые горки, расставят заякоренные скамейки для мамочек с айфончиками и будут усердно раз в неделю стричь траву «под ковер», чтобы ни одного одуванчика цветущего, ни одного комарика звенящего! Осталось обкорнать старые высотные тополя, чтоб ворон не было каркающих, и грачи по весне не гнездились... О, юди-юди!

От книги «Ключок обетованный» прошло 12 лет. За этот классический цикл мой ключок практически уничтожен, ветки на ветке не осталось. ТО и ТОГДА ещё было связано с прошлым, мерещилось какое-то будущее в связи с появлением внука; у внутреннего мира со внешним оставались хоть тонюсенькие, но живые тёплые контакты, особо остро ощутительные в рассветах и закатах. Сейчас осталась только ночь – моя: закрой глаза и выходи босичком во двор (хоть по снегу! – практиковала), покрывая его сердчишком сердобольным, наполняй кипением памяти, чувством благодарности ко всему, что было и... должно быть для моих детей! Иногда улыбаюсь, засыпая.

Весна 2018 г.

УТКА

памяти прабабушки Марии

Птичка пролетела.
Оказалось – утка,
странно: будто чешет задом наперёд.
Вышла я из тела
на одну минутку, –
вот душа! – как утка, прёт себе и прёт!

...пролетает страны,
пролетает лица
и насквозь проходит странные сердца:
те, в которых раны,
рваные станицы,
чёрные бойницы – войны без конца...

...бабушки и деды,
труженики предки
шелестят, как травы, по земле родной,
и цветы победы,
и сироты детки, –
как-то слишком плотно всё во мне одной...

Пролетела птичка,
пёрышко упало,
им-то и пишу я по белым-бело.
Чёрные кавычки:
(...на Иван-Купала
посекли опричники целое село...)

ШТРАФБАТ

памяти деда Дмитрия

Меня посвятили в жизнь, как булыжник – в воду!
Мистерия эта длится уже полвека,
и душу ломает классически: на погоду,
эпоху, идею и каждого человека.

Осталось немного. Надеюсь. Лелею веру,
что над семидневкой извилины напрягая
и быт разгребая в усердии, дорога я
для внука, ещё не вписавшегося в галеру.

Раскаяться: Каин загнил неприязнью к брату.
Ещё разиудиться: гонор вотще – не я ли?
Осталось спасибо за школу сказать штрафбату,
в который меня, неумеху и дуру, взяли.

Надёжная, крепкая выучка у штрафбата:
нет права на воспроизводство, любовь и власть.
Как кстати, что я от рождения была крылата,
чтоб, дна нахлебавшись, безудержно в небо пасть!

За этот причудливый опыт спасибо, дед.
Ведь мне (чем тебе, отслужившему) больше лет
сейчас, когда тебя нет.

СНЕГ

памяти бабушки Анастасии

Очень медленный вертикальный снег –
это память детства, где страха нет:
бережливая бабушка штопает мой носок,
улыбается мысли, влетевшей в её лицо,
на руке мерцает серебряное кольцо,
и очки на лице – немного наискосок.

Первозданное чувство в груди – вертикальный снег:
это мамы, с работы вернувшейся, тихий свет,
это хлеба горячего запах – с её руки.

«Мне горбушку!..» Она смеётся, и мир большой,
и пушистое тёплое облако над душой,
потому что завтра мы будем играть в снежки!

Потому что ещё далеко до меня, сейчас
и вот здесь отправляющей внука в четвёртый класс:
за окном – вертикальный снег, и душа бела.

После школы вернётся румяный и весь в снегу,
и горбушку душистую выклянчит на бегу...
Я такой же была. Я была. Я уже была.

ДАЧА В КАРЧИТЕ

памяти Виты

Ты любил кофеёк
и лимончик, посыпанный солью, –
на закуску, а я
предпочла бы селёдку и чай
сладкий. В дачности
мышки шаманили на антресоли,
и чужие коты
забрели на них невзначай.

С нами – Маркес, рыбалка,
костёр во дворе и крылечко,
ночи, полные звёзд,
и внезапный, как оклик, рассвет.
Время было неспешным
и распространённым, как Млечный...
Млечный всё ещё есть,
а тебя – не забытого – нет.

С неоправданным прошлым
и сколько же можно носиться?
И зачем эта память
в судьбе человеческой нужна?
...занавеска линялого
полупрозрачного ситца,
как живая, колыхается,
дышит в проёме окна,
а душа совершенно одна.
Совершенно. Одна.

НАСЛЕДИЕ МОЁ

памяти папы Николая

Местное значение боёв:
передоз, инфаркт, инсульт, саркома,
или суицид: «Пошли вы на!...»
А вина и без войны вина,
да и смерть в начале – просто кома,
только результат её хренов.

Местное значение любви:
бытовуха, праздники и дети.
Может быть и упоенье счастьем, но...
вдруг ударная волна – в окно –
эпохально, и гореть в ответе
чувства станут Спасом-на-крови.

Местное значение – во всём:
«Каждому – своё», но мы-то рядом,
и любви-войны не избежать.
Что посеем, то нам и пожать,
и пройти торжественным парадом,
где героев жатвы пронесём

в чёрных рамках по любимым градам
в День победы... А тебе награды
были не нужны. Ты был отец
самых невзыскательных сердец.
Я в тебя пошла: кормлю зверьё,
птиц, детей, – наследие моё,
и иного мне уже не надо.

ДОРОГА

памяти Владимира

Домой!.. До того, что моё: до - мой!
И где же он, Дом? Междометья, здарсьте...
И это – на финишной на прямой –
под допингом самой сакральной страсти –
желания смерти? Окстись, душа!
Чего тебе здесь не хватило, дура?
В подлуньи – шумящего камыша,
в подполье – сквозящего взглядом дула?

...вот ели... вот вязы... вот особняк...
Не твой. И река под борта – чужая,
и «не парковаться» – дорожный знак,
чужую – сакральную – проезжая.
Ну – и? Ты глаза-то свои взъерошь,
до облак закатных примерься взглядом:
и чем тебе возраст твой не хорош,
и что тебе в этой чужбине надо?

Душа моя, душенька... душно как!
Автобус трясётся, столбы мелькают,
и только луна, как дорожный знак,
то предупреждает, то потакает
тоске по родному и своему,
безумно-заплаканная такая...
А я возвращаюсь в свою тюрьму.

КУХНЯ

Грохот посуды на коммунальной кухне:
моет посуду соседка. Куда же деться?
Что там – стихи, если мысли уже потухли
в грохоте быта?
Такое у внука детство.

Дочери тоже пришлось здесь поупражняться
под перестроечные сквозняки и битвы.
Вроде притихло, когда ей стукнуло двадцать.
Стучает тридцать
опять под мои молитвы.

Что нам – посуда? Ей пользовались и атланты.
Вот представляю, какие гремели громы!
Мы-то, как крысы: слабо? – забегай на ванты...
Здесь не корабль.
Я – поэт вообще-то, дома.

Бедной соседке ведь тоже пришлось смириться
с белой вороной у кухонного стола
над выправляемой очередной страницей
спущенного в рассрочку
добра и зла.

ПЕРЕМЕНА

Окно, распахнутое настужь в сад:
в янтарный свет июльского заката
дрозды о преходящем голосят,
как звёзды – о божественном – когда-то,

И шмель, присевший на моё колено,
И со стихами школьная тетрадь –
большая возрастная перемена,
которую осталось вспоминать...

Так тихо на душе! Листва опала,
плоды все собраны, уснул шмелёк
в своей берложке, и невзрачной стала
земля-кормилица у самых ног.

А помнишь, как разъяв на свет и тьму
Себя, Ты вдруг заплакал? Не от боли, –
от одиночества. Ну и кому
Ты дал вкусить Своей безмерной воли
и смерть – как плату?.. Памятью согрета,
отрочества переживаю лето:
и свет, и тени, скручиваясь в жгут,
меня Тобой восполнят и сожгут.

МОЙ КИТЕЖ

Перечитывая Макса Волошина,
понимаю, что душа моя сношена,
разворована, отравлена сплошь.

Перечитываю Макса, и кажется:
духи века надо мною куражатся,
И зазывность обещаний их – ложь!

А всего-то: лишь столетьем обмерена
Максом петая праматерь Киммерия,
дух Европы пред которой – душок
со своей высокопарною готикой,
с феминизмами, коммунной, эротикой, –
от животной вошкотни на вершок.

Перечитываю Макса, и мнится:
вот сейчас перевернётся страница
и – коктебельское солнце – волной! –
сокрушая наши «недо-» и «надо!»
пронесётся над могилами града,
так признательно любимого мной.

Нет, не Китежа, а города-ЗЭКа,
на костях перемоловшего века
пренебрегшего сверканьем столиц...

И лучи его проспектов, как спицы
боевой передовой колесницы,
переполнены и судеб, и лиц.

Эти судьбы были временем скошены,
захоронены, и, Макса Волошина
перечитывая, падаю ниц:

Ты меня не понимаешь, мой «Китеж»?
В преисподнюю меня не похитишь?..
Я согласна – среди любимых страниц.

КОРМУШКА

Вот и всё. Отчалили пернатые,
зиму скоротали, как смогли.
Хорошо запомнили пенаты вы,
городские пасынки земли?

Прилетайте стайками и парами.
Мне хоть и накладно, но тепло
от возни крылатой, я ведь старая, –
время перелётов истекло.

Вот, в стекло оконное уставилась, –
о, душа несытая, молчи! –
радуюсь, как парами и стаями
вас сменяют галки и грачи.

Эти – самостийные, кондовые,
им и зАморозки нипочём!
Залетают – юные и вдовы –
синь небес взъярив крылом-плечом!

Но с пронзительным благодарением
вспомню я синичку без хвоста,
самую любимую из ста,
как доверчиво – и на колени мне...

ВИДИМАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

(из автобиографии)

«Как давно Вы пишете стихи? С чего это началось?» – обычный вопрос на встречах с читателями. Но очень уж он напоминает вопрос врача к пациенту: «Как давно Вы чувствуете недомогание? С чего это началось?». Симптом – стихи. Диагноз – поэт... Вот сижу сейчас, смотрю в окно, где осень вступает в свои права новой палитрой, а грачата «оттачивают стиль» над тополями перед отлётом на юга, и сама себя спрашиваю: когда?.. с чего?.. Семья, детство – конечно, главное. Это та родовая твердь, от которой, как от гнезда, отталкиваются птенцы, становясь на крыло. Или пингвинята, впервые покидая родные скалы, занырявают в глубины морские.

Моя семья для послевоенного Советского Союза – классическая. Папа, Наумов Николай Дмитриевич, – офицер Советской армии; мама – Наумова Тамара Григорьевна (в девичестве Лопаткова) – учитель начальных классов советской школы. Бабушку Анастасию Викентьевну я помню только бабушкой, потому что сразу с замужеством дочери она отправилась в большое путешествие вместе со своими детьми, чтобы быть им подмогой в малом бытии. Мой старший брат Сергей родился в Белоруссии, где у мамы с папой началась семейная жизнь. Белая Русь была первым местом службы папы после окончания военного училища, а мама только что закончила педагогическое. На выпускном вечере в клубе они и познакомились... Папа продал свои новенькие хромовые сапоги, на эти деньги справили скромную свадьбу. До сих пор недоумеваю: то ли сапоги тогда были такие дорогие, то ли свадьбы такие дешёвые?..

Я родилась через полтора года после брата уже в Казахстане, куда папу направили в воинскую часть, обслуживающую атомный полигон. После выхода подземного испытательного взрыва на поверхность и связанных с этим последствий для его здоровья, папу переводят в Уссурийский край, где был специализированный госпиталь. Следом – в Хабаровск, где я впервые оказалась в цивилизованной квартире и долго наотрез отказывалась садиться на унитаз в ванной комнате, потому что он мог страшно рычать.

Из «уссурийского» бытия помню деревянные мостки через болота, по которым мы ходили от дома до «суши». Ещё – детскую ванночку на пороге дома, заполненную кровавым мясом. Это егерь продал нам кабана, но кровавая ванночка ассоциировалась у меня с тигром, потому что в то же время у нас в доме появилась тигровая шкура. Я не знала, что к егерю в капкан попал двухлеток-тигренок, но выпустить его на

свободу не удалось из-за агрессивности пленника. Пришлось пристрелить. Родители купили эту шкуру. На ней-то, выделанной и выветренной, прошли тайные страхи и мечты моего детства вплоть до переезда в Германию (шкуру тигра почему-то не разрешили вывозить из СССР).

Пробуждались ли во мне творческие задатки тогда? Вряд ли. Вундеркиндом я, слава Богу, не была и, как все нормальные дети, жила на ошупь-нюх-вкус. Не всегда было приятно, не всё было понятно, но жизнь – интересная штука! Когда я сама уже стала матерью и спрашивала маму: «А я какой была в детстве?» – она отвечала:

– Не настырная, как твоя Машенька, а какая-то отвлечённая: смотрела, как сквозь, сама себе вдруг улыбалась, или плакала без причины... очень часто плакала.

Только на Сахалине, куда нас вскоре занесло военным кочевьем, впервые оказавшись на берегу моря, я осознала себя «отдельной» – самой собой, даже одинокой. Эту встречу с морем (с Тишайшим океаном Земли) я помню до сих пор в подробностях.

Так сложилось, что рисовать я начала раньше, чем читать и писать. У нас в семье была драгоценность – большая (в том восприятии – огромная!) книга сказок Александра Сергеевича Пушкина с прекрасными иллюстрациями в стиле «палеха». Вечерами мама садилась на диванчик, раскрывала эту книгу, слева и справа прилеплялись мы с братом, и она неспешно, очень выразительно красивым грудным голосом читала нам сказки, а мы, как замороженные, разглядывали картинки (телевизора тогда и в помине не было). Наверное, для нашей семейной атмосферы эта книга была чем-то вроде Библии. По крайней мере – по тому благоговению, с которым мы, дети, притекали к ней. Была ещё одна «драгоценность» – альбом для рисования. Начинался он с папиных рисунков, исполненных карандашом. Это было его увлечение ещё в военном училище. Когда родители поженились, – в альбоме появились и мамины рисунки, ничем не уступающие папиным. Для меня всё это было недосыгаемо-восхитительно!

На Сахалин я попала уже пятилетней. Брат пошёл в школу. До сих пор помню запах новенького портфеля, учебников, тетрадок, гладиолусов и георгинов в руках парадно наряженных в школьные формы первоклашек. Я, естественно, увязалась за братом и даже пыталась встать в строй рядом с ним, но меня деликатно выудили оттуда, и весь остаток дня я провела в горьких слезах. Чтобы успокоить чадо, мама разрешила мне вместе с Серёжей «делать уроки», даже выдала тетрадки, ручку с пёрышком, карандаши. Чернильница была одна на двоих, что вызывало немало беспокойств для взрослых. Но меня быстренько «снесло» в рисование, как только появились альбом и акварельные краски. Вожделенные недосыгаемые иллюстрации

стали творческим поприщем: копировать их было много интереснее, чем выводить чернилами палочки, загогулины и кружочки.

В литературном плане первым этапом было, скорее всего, устное народное творчество. Бабушка Анастасия знала множество колыбельных, запевок, считалок, частушек на белорусском и русском языках, играла на гитаре, папа – на балалайке и гармошке, все пели, и я рано почувствовала вкус к ладно сложенным рифмованным строчкам, сочиняла свои по любому поводу.

Второй (уже чисто писательский) жанр, который я освоила, был эпистолярный. Когда папу перевели на Украину, мне было девять лет. На Сахалине оставалась моя первая и любимая подруга Лариса Шинкарёва, с которой мы избородили и измечтали всю окрестную тайгу и побережье Анивского залива. Мы тогда жили в военном городке рядом с трассой Южно-Сахалинск – Корсаков. Папа Ларисы был военным егерем. В школу нас возили на автобусе по гравийке в посёлок Соловьёвка – тот самый, где в своё время жил Антон Павлович Чехов, воспламенившийся узнать, в каких условиях живут каторжники Российской периферии.

Мы с Ларисой увлекались геологией, археологией, ботаникой, казалось, жить можно вечно!.. Под кроватью у меня в ящике хранились образцы геологических пород с гравийки, папка с гербариями, останки сине-белой посуды времён японской оккупации, кремневые орудия труда и черепки с древней стоянки на отвесном берегу Анивы... раковины-веера, «пустышки» (бесплодные яйца чаек), расписанные акварелью... были даже засушенная на раковине морская звезда и усопший неведомой смертью жук-носорог.

Предстоящая разлука щемила сердце, и мы договорились, что будем переписываться. Я обещала рассказывать всё о далёкой Малороссии, присылать гербарии, фотографии и книжки на украинском языке. Это немного смягчило расставание, ведь дети так доверчивы к мечте! Мы переписывались более десяти лет. До сих пор помню тот первый адрес: в/ч 47186. Я писала ей и из ГДР, куда вскоре перебрались по очередному папиному назначению, и из Новокузнецка, где обосновалась по окончании школы.

Стихи я стала сочинять ещё в пятом классе, в Новограде-Волынском, утопившем душу в цветущих каштанах мая, в сладости черешни первых дней лета, в аромате белого налива начала августа, в дремучих зарослях «марсианской» ежевики на крутом берегу Случа рядом с еврейским кладбищем времён гражданской войны, сплошь заросшим сиренью и акацией. Ни одной тропы не было через это «погромное» кладбище, – все боялись. Я тогда тоже боялась, как все. И первые опыты стихосложения тоже были в русле «как все». Я стала эпигоном

Чуковского и Маршака: «влезла» в них, как в трамвай, и тряслась в общедоступном ритме без остановок. Слава Богу, всё это исчезло при очередном переезде, как всё «моё» благополучно исчезало: и сахалинский ящик с никому не нужными «сокровищами», и тигровая шкура, которую разорвала в клочья немецкая овчарка заменщиков, временно поселившихся в нашей забронированной квартире. Кочевье не располагает к накопительству. Чудом уцелела и доехала до Новокузнецка только выточенная из кости длинная японская шпилька для волос, которую я только что за пазухой не носила, настолько она мне нравилась.

В Германии, классе в седьмом, у меня завелась красивая общая тетрадь с первой лирикой (ну конечно – о любви!). Кумиром поэтических пристрастий стал М.Ю. Лермонтов, периодически сбиваемый извне «актуальным» Асадовым, бравшим наши юные советские души за неопытные юные сердца. Тогда же, увлекшись фантастикой, я стала сочинять фантастические рассказы, для которых была заведена отдельная общая тетрадь. Амбиции превозмогали возможности, но с помощью плагиата просто интересно было сочинять космические эпопеи, выдумывать немыслимые формы разумной жизни, тем более что учебник по астрономии я изучила от корки до корки ещё в пятом классе, страдая от первой любви и рассчитывая, куда бы улететь, и сколько на это потребуется времени...

Не помню, чтобы я обсуждала с родителями радости нового увлечения. В тот же период начинаю осваивать новый «жанр» – дневник. Именно с тринадцати лет, когда сунулась было вступать в комсомол, а мне деликатно предложили «погодить», пока не исполнится четырнадцать. Я же в школу всё-таки просочилась в шесть лет, благодаря маме, но всё время была в классе самой младшей. Так что первый мой дневник начинался с обиды за то, что меня не приняли в комсомольцы-одноклассники. Это была уполовиненная общая тетрадь, в которой я писала бисерным почерком, а сам дневник прятала в укромном месте. Уполовиненность дневникового формата сохраняла много лет.

Читала я тогда, как одержимая. А что ещё можно было делать в военном городке, когда TV кажется по-немецки, а душа просит пищи на русском? По окончании десятого класса даже грамоту получила из библиотеки Дома офицеров за самый большой объём прочитанной за год литературы. Так что к шестнадцати годам, когда приехала в Новокузнецк, у меня уже были писательские опыты: в эпистолярном и дневниковом жанрах – укоренившиеся, в поэтическом – эпизодические. Не было только «школы». До неё предстояло ещё многое пережить, и это правильно. Жизнь всё-таки – главное, а уж какой она найдёт способ для творческого отклика – решается, наверное, на небесах...

Первым ценителем моих «писательских» способностей стал художник Виталий Карманов. Бросив педагогический институт и возмечтав поступить в художественное училище, я попросила его подготовить меня в рисунке и композиции. Работая санитаркой в хирургии, в уникальной библиотеке 1-й клинической больницы я познакомилась с «Письмами» Ван-Гога, творчеством и жизнью Чюрлёниса, Врубеля, но чувствовала, что для поступления не хватает школы. Папку со своими художественными опытами реквизировала у родителей (надо же, сохранили!). На Карманова меня вывела подруга Светлана Голикова. Закончив «ин.яз» и получив распределение в Прокопьевск, она решила последний летний месяц подработать кондуктором в автобусе. Ей попался маршрут 52, проходящий через Старокузнецк. Однажды в салон ввалились слегка трезвые два типа с длинными волосами и донкихотскими бородками.

– Вы художники? – спросила она, обилечивая.

– А что, не видно? – ответили оба, смеясь.

Светлана объяснила мою ситуацию и попросила хотя бы посмотреть мои работы.

– Веди!

Это были Иван Шмидт и Виталий Карманов. Во время первых собеседований я обмолвилась, что не только рисую, но и пишу.

– И что же ты пишешь? – Виталий.

– И стихи, и прозу.

– Да ты что?! Такая молоденькая, а тебе уже есть о чём писать?

– Допустим, есть.

– Ну-ну... А дай что-нибудь почитать.

– Хорошо. Завтра принесу.

Стихи показать не смогла, почему-то постеснялась, а вот новеллу «Подснежник» об одной четырнадцатилетней девочке нелёгкой судьбы, с которой меня столкнула жизнь, принесла. Две школьные тетрадки, забытые убористым красивым почерком (был когда-то у меня такой) легли в живописно замызганные масляной краской руки Карманова. Пока Виталий читал, я успела сходить в магазин и купить всё, что он попросил «по списку». Ещё и прогулялась по дворам, освобождаясь от естественно нахлынувшего волнения. Дело было на 30-ом квартале, где в полуподвале пятиподъездной пятиэтажки располагались от торца до торца мастерские художников. Когда вернулась с «прогулки», Карманов, возлежащий на софе с моей тетрадкой в руках, вдруг падает на пол, сучит ногами и, захлебываясь хохотом, цитирует какую-то фразу из текста. Кладу авоську возле мольберта, вырываю у него из рук свою тетрадь, беру вторую с засаленного и обычкowanego стола и отправляюсь в единственный на все мастерские сортир. Там,

чиркнув спичкой, сжигаю над смрадным унитазом обе тетрадки. В дверях, взлохмаченный, с ошалелыми глазами, Карманов:

– Что ты делаешь?!

– Ничего. Всё уже сделано. Ты ничего не читал, я ничего не писала. Для тебя, по крайней мере.

– Ду-у-ра-а! Дура! Я смеялся над фразой, а ты сожгла произведение! Дура! Фразу можно исправить... И Гоголь – дурак! Идиоты! Нельзя жечь! Рукописи не горят!..

– Значит, ещё напишу. Всё впереди.

Поостыли, примирились. Виталий даже выпустил целую тираду одобрений по поводу прочитанного только что и сожжённого. А я делала вид, что мне нисколько не жаль этих голубых тетрадок. Нет, конечно же, я поняла, что совершила непоправимое. Но новелла мне самой не нравилась. Надо было быть предельно искренней, только облечь всё в безупречную литературную форму. Искренности хватало, но – в дневниках, которые не предназначались для читателя. А новелла была задумана именно для читателя, и я вцепилась в «литературный язык», как в спасательный круг, однако... искренность, оказывается, не дружила с известными мне литературными клише. Она исчезла. Много позже я, конечно, поняла, что к чему, а тогда это было литературным парадоксом, неразрешимой проблемой. Виталий говорил что-то очень умное, называл имена писателей, которых я даже на слух не знала, и наши последующие встречи, беседы, споры обростали новыми для меня смыслами как атмосферой, в которой не только можно было дышать, но без которой дышать уже было нечем.

Тем не менее, обстоятельства сложились так, что мне пришлось уехать на Украину к родителям. Мы стали переписываться: для него – забава, для меня – привычный «жанр» общения. Переписка была ежедневной в течение двух месяцев. Виту буквально захлестнули мои эмоциональные послания с анекдотическими ситуациями, подробными лирическими картинками, вопросами, надрывами, житейским «лубком» и философскими отступлениями... со стихами в конце концов! И он приехал. «Всё. Ты мне нужна каждый день. Выходи за меня замуж». Так у меня появился не только муж, родной и понимающий человек, но и безжалостный литературный критик. Правда, сначала он заставил меня читать. Мой читательский «реестр» приводил его в ужас: «Как можно в твоём возрасте не знать Бальзака?.. И ты не читала Мопассана?!» (мне было двадцать, ему – тридцать).

– Зато ты не читал материалы Нюрнбергского процесса, Историю Великой отечественной войны и дневники Льва Толстого, – я же тебя не упрекаю... – чистосердечно возражала я. Он ведь знал, в какой семье я жила и в каких условиях. Библиотека его отца Анатолия Ивановича

была шикарной! Телевизора мы не держали и вечерами, угнездившись на диване, отдавались очередному писателю в плен: Вита читал вслух, а я рядом рукодельничала, обшивая и обвязывая его с ног до головы. Помню вечер «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле: денег был минимум, и мы в «Океане» купили «кошачьей рыбки» мойвы, натувив с луком по моему рецепту огромную сковороду. Произведение средневекового классика вызвало у нас слюноотделение до тошноты.

– Всё! Жрём твою мойву, я больше читать не могу, – захлопнул книгу Вита, – до лучших времён, Пингвин. Давай на сон грядущий поболтаем о... птичках.

– Давай лучше о море, ты ведь никогда там не был.

– Только без гастрономических подробностей!

– Причем тут это? Кстати, мы с бабушкой после шторма собирали морскую капусту. Представляешь? Это огромные ленты, но бабушка выбирала не побуревшие...

– Морская капуста с кальмарами!

– Какие кальмары? Мы её промывали, шинковали, варили и солили в трехлитровых банках с чесноком...

– Только не рассказывай, как к вашему магазину в Южно-Сахалинске подкатывал грузовик и вываливал на асфальт крабов, и вы несли их в авоськах, и торчащие клешни шевелились... варвары!.. о, крабовые лапки на закусочку!

– Вита, у тебя слишком богатое... гастрономическое воображение. Если я говорю «краб», – это не значит, что я предлагаю его есть. Вообще-то я их боялась, когда они пробежали мимо...

– А у тебя нет вкуса к слову! Ещё поэтом стать мнишь...

– Есть! Если сказать три раза «лимон», – у меня будет полный рот слюны.

– Клоп-клоп-клоп! Пошли поглощать мойву, Пингвин.

Это было уже начало литературной школы, пусть и своеобразное, но уроки до сих пор работают: что я вижу и ощущаю, читая чей-то текст? Иногда хочется упасть со стула и захлебнуться хохотом, цитируя. Но сжигать ничего нельзя. Надо работать над текстом.

Мы любили «дышать» новыми авторами, которые входили в жизнь «живьём», потому что и у Виты, и у меня было богатое воображение. Даже Евангелие я впервые услышала из его уст, уже в мастерской на мансарде по проспекту Metallургов, – после удачного обмена «макулатурой», собираемой пионерами по этажам. Вита им увязал и даже спустил вниз свои кипы, а взамен, порывшись, выудил Гоголя, Чехова и книжку без корочек с «ятами», – это и было Евангелие.

В тысяча девятьсот семьдесят девятом году (после нашего посмертно-рожденного сына Ромки) Вита с друзьями Сашей Бобкиным,

Сашей Мореевым и Колей Бахаревым собственноручно привели меня, раздавленную депрессией, в литературное объединение «Гренада», которое и стало моей первой профессиональной школой. Руководил ей тогда Евгений Богданов, журналист и прозаик. Из поэтической братии того знакомства помню Владимира Горбася, Владимира Петраша, Леонида Сербина, Игоря Гурьянова, Колю Николаевского, Стаса Долгова, – это начало. Через год я уже вошла в круг «Притомья» – областного литературного объединения, где и обсуждалась на семинаре.

Областные мэтры меня не приняли, углядев в стихах подражание Цветаевой. «А кто такая Цветаева?» – спрашиваю Виту. «Достану. У Юры Люленкова есть, почитаем». Единственным «мэтром», всё-таки углядевшим во мне смысл, был Игорь Киселёв. С ним мы переписывались до его смерти. А из «молодых» кемеровчан я попала в круг значимых тогда поэтов: Александр Ибрагимов, Николай Колмогоров, Сергей Донбай, Леонид Гержидович, Виталий Крёков, Владимир Соколов. До сих пор помню дух братства! Они были на десять-двадцать лет старше меня, но дружба не ведаёт возраста, у неё другие временные координаты. Наша «кармановская» квартира на Батюшкова была местом встречи, которое изменить нельзя, для приезжающей в Новокузнецк поэтической братии, и не только поэтической. Это и понятно, – у нас не было детей, а жили в трёхкомнатной: десятый этаж, с лоджии – панорама сопок с Соколухой, – чем не башня из слоновой кости?..

Атмосфера в начале восьмидесятых царила парнасская. Поэты – стилистически разные, характерные, дерзновенные; отношения друг с другом – распахнутые. Именно оттуда и от тогда повелось у нас, где бы ни встретились, приветствоваться объятиями. Эти годы, трудноописуемые в мемуарном стиле, я вспоминаю лицами и объятиями, стихами и лицами.

В тысяча девятьсот восемьдесят восьмом я вышла (вернее, вынужденно выпала) из литературной среды и надолго, потому что у меня родилась дочь в новом браке, и потому что началась пресловутая перестройка. Но, благодаря творческому опыту, моя внутренняя жизнь в любых обстоятельствах оставалась «под высоким напряжением». И уже в новом тысячелетии стали одна за одной выходить книги, причем в «своём стиле» – проза и стихи вместе. И разорвать этот сплав было невозможно, стихи-то я писала в дневниках... бумаги на черновики не было. По поводу «стали выходить» – дополнение: появились спонсоры, которые почему-то вкладывали свои «кровные» в какую-то там поэтку, которую вообще-то узнали как художника: я вышивала шёлком (гладью) иконы на заказ, это и обеспечивало выживаемость мне и моей несовершеннолетней дочери. Такая сугубая

«проза выживаемости» привела к тому, что и сами стихи стали «дневниковыми», лишенными летучей фантазии, замысловатой сюжетной выдумки, витиеватого метафорического декора и «дамских» словесных аксессуаров. Жизнь шла внахлест, и я внахлест рифмовала то, что ритмически просилось в строку.

А она (жизнь в 90-е) была настолько фантазмагорической, что «высасывать из пальца» было нечего: глянул в окно ночью на откуда-ни-возьмись выстрелы или вышел в аптеку затемно – и рифмуй... если это сильнее инстинкта самосохранения. Помню: веду в детсад дочку, скользящим взглядом обнаруживаю впереди на обледенелом тротуаре собачью голову с железной пробкой от пивной бутылки в зубах, резко сворачиваю через дорогу, чтобы ребёнок не увидел, а в мозгах, как дерьмо в киселе: «...год собаки, год собаки... Собаки!..» В нулевые социум вроде бы утрясло, мы с дочерью вернулись в Новокузнецк из Серафимо-Покровской обители, где, видимо, происходило изменение масштаба мышления во мне. Адаптироваться в новой реальности было сложно, в том числе и в литературной среде, уже растлеваемой коммерческим духом.

Человеком, который подвинул меня на первую книгу, была Ольга Галыгина – искусствовед, создатель галереи «Сибирское искусство», личность, чей масштаб мышления соответствовал новому моему, а в действительности ориентировался на несколько порядков выше.

– Татьяна, пиши книгу о том, как ты вышиваешь иконы, а я буду готовить выставку.

– Но я не знаю – как? О чём писать?

– Обо всём.

– Я не умею...

– (улыбается) Всё ты умеешь. Садись и пиши. Ты ведь ведёшь дневник. Перелистай назад, вспомни.

Перелистала. Вспомнила.

Но это было уже вне «школ» и «опытов». Началась реальная литературная судьба. После пяти лет, проведённых в монастыре «на послушании», у меня осталось два способа самовыражения: строка – в слове и стежок – в шёлке. Оба келейные. Очень разные способы – как две стороны Луны: одну мы всё время видим (в любых атмосферных вариациях и в любых фазах), а другую, сокровенную, – не видим никогда. Моё литературное творчество – это «видимая сторона Луны», она всегда обращена к Земле и зависима от неё, и влияет на неё... Моё иконописное «шелкопрядство» вообще не подлежит анализу, даже моему собственному, ибо «та сторона Луны» никогда не смотрит на Землю.

Дневники и письма – стило, которое десятилетиями оттачивало и мысль, и речь, и стихи. Судя по всему, это и есть «стиль», по поводу

которого так многословствуют литературоведы. Стихи капризны: они приходят и уходят (бывает – надолго). Я всегда думала, что Поэзия всё-таки соответствует молодости: мечтам, кумирам, тайнам, буйству сил, дерзновению, способности влюбляться до потери пульса, безумным жертвам и жертвенным подвигам... Оказывается – нет! За биологический возраст она не цепляется. Когда и как началось – ещё можно отследить задним числом. А когда и как закончится?.. Артюр Рембо закончил в девятнадцать лет. У Георгия Иванова есть «Посмертный дневник» (шедевр!), который записывался супругой Ириной Одоевцевой под диктовку умирающего поэта. Ему тогда было шестьдесят четыре года:

«Александр Сергеевич, я о Вас скучаю.
С Вами посидеть бы, с Вами б выпить чаю...»

А Зинаида Миркина и в свои «за восемьдесят» пишет изумительной чистоты и прозрачности стихи:

«О несказанном не сказать.
Беззвучие нельзя услышать.
Но есть такая благодать
Во всём, что выше нас и тише!..»

Когда и как начинается Поэзия? Наверное, когда человек (человечек) начинает вслушиваться, всматриваться в мир вокруг и вдруг хочет ему что-то сказать, как-то ответить на красоту или безобразие, радость или боль, о чём-то спросить – о самом главном...

Ведь Поэзия – это только одна часть диалога, явленная в слове. Другая известна лишь автору. Или даже ему неизвестна – в случае Читателя.

Содержание

А ЗДЕСЬ.....	4
«Ты ничего не сказал...».....	6
«У нас в Сибири жабы не поют...».....	7
«Ящерка бежит по полю...».....	8
«Разгульно дождь прошёлся, ветер...».....	9
«Горлицы в липе – как ангелы в хате...».....	10
«И облако с раскрытой волчьей пастью...».....	11
«Запах конского навоза...».....	12
КОЛОКОЛ.....	13
В ТОСКЕ.....	14
С ВЕРОЙ В ГРУДИ.....	15
В ТЕРПЕНИИ.....	16
В ТЩЕТЕ.....	18
В МОЛЧАНИИ.....	19
В МОЕЙ ДУШЕ.....	21
В ТЕБЕ.....	22
О ПРЕХОДЯЩЕМ.....	23
УТКА.....	24
ШТРАФБАТ.....	25
СНЕГ.....	26
ДАЧА В КАРЧИТЕ.....	27
НАСЛЕДИЕ МОЁ.....	28
ДОРОГА.....	29
КУХНЯ.....	30
ПЕРЕМЕНА.....	31
МОЙ КИТЕЖ.....	32
КОРМУШКА.....	33
ВИДИМАЯ СТОРОНА ЛУНЫ.....	34



Издательство «Ник без Компані»